



Традиция—текст—фольклор  
*типология и семиотика*

*Ответственный редактор серии*

*С. Ю. Неклюдов*

# Сны и видения в народной культуре

Москва

2002

## Вещие сны и их толкование (На материале современной русской крестьянской традиции)

Ф

еномен вещего сна в народной культуре обычно становился предметом фольклористического внимания либо в качестве элемента народных поверий: что к чему снится, какой сон сбывается и т. п., — отражающих те или иные архаические представления или мифологические модели, либо как один из сюжетообразующих мотивов в произведениях фольклора, либо как компонент ритуально-мантических практик (например, святочные загадывания на сон). Распространенные в практике бытового общения рассказы-мемораты о снах, в частности крестьянские, стали целенаправленно фиксироваться собирателями сравнительно недавно и практически не публиковались (первая специальная публикация вышла в 2000 г.)<sup>1</sup>.

При этом несправедливо было бы считать, что рассказы о снах провоцируются лишь специальными вопросами собирателей — просьбами припомнить случаи необычного или

сбывшегося сновидения, — а в «естественной» коммуникативной ситуации не воспроизводятся. «Особый тип текстов — рассказы о снах», — пишет С. Небжеговска о таких меморатах, сразу же определяя их прагматическую функцию: «Апеллируя к личному опыту, они поддерживают веру в прогностическую ценность сновидения»<sup>2</sup>.

Далеко не всегда в рассказах о вещих снах повествование касается самого рассказчика — иногда они представляют собой пересказы чужих историй, слышанных от других людей уже «в готовом виде». Кроме того, пересказывать сновидения (также с попытками их толкования и часто с присовокуплением повествования об исполнении предсказания) принято не только в крестьянской среде — достаточно активное бытование этих текстов, особенно в кругу родственников и близких знакомых, каждый может засвидетельствовать своим индивидуальным опытом, и потому нет никаких оснований отрицать их распространенность среди крестьян. Наконец, рассказы о сбывшихся снах в структурно-стилистическом плане тяготеют к единому образцу, что дает возможность говорить о существовании своего рода жанрового канона, более или менее следовать которому неосознанно стремится каждый рассказчик. Так что, записывая от информанта историю о том, как у него или у кого-то из его знакомых «сошелся» сон, мы, по-видимому, чаще имеем дело с воспроизведением или «моделированием» текста, нежели с его спонтанным созданием.

Стоит ли оговаривать, что устные тексты — единственный и весьма специфичный источник сведений о том, какие, собственно, сновидения видят рассказчики, ибо воспоминание о сновидении всегда неравно самому сновидению, а рассказ, построенный на воспоминании, всегда неравен самому воспоминанию.

Очевидно при этом, что для фольклориста открываются определенные перспективы исследования, в рамках которого крестьянские пересказы снов, встроенные, как правило, в более обширные нарративы и сопровождаемые разного рода комментирующими высказываниями, предстают как материал не только весьма содержательный. Так, с одной стороны, фольклориста могут заинтересовать в качестве особой жанровой группы сами мемораты о снах, характеризующиеся, как уже отмечалось в литературе, высокой степенью стереотипности<sup>3</sup>. С другой стороны, рассказы о снах и их толкованиях содержат богатую информацию, воспроиз-

водимую в них, в отличие от «истинного» содержания самих сновидений, вполне адекватно: мы имеем в виду даже не столько систему представлений о сне и вещих сновидениях, комплексе предписаний к их интерпретации, провоцирующую, нейтрализации последствий и т. д., сколько выражающую имплицитно практическую «логику толкования» — те традиционные стратегии и модели, которые определяют процесс и результат интерпретации снов в их проекции на жизнь сновидца, его родных и знакомых, его родного края и отечества.

Можно заметить, что основу корпуса пересказов составляют: 1) сны, в которых сновидец общается с умершими родственниками или знакомыми; 2) сны, в которых предсказания и предписания произносятся являющимися сновидцу сакральными (не всегда достаточно четко идентифицируемыми) персонажами — Христом, Богородицей, святым или кем-либо из умерших родственников; 3) во многом близкие к ним сны-«голоса», диктующие сновидцу какие-либо действия (например, поиск клада); 4) сны о посещении того света (подобные так называемым обмираниям); 5) сны самого различного содержания, образно предвещающие будущие события, т. е. собственно вещие; 6) как отдельная разновидность последних — сны, целенаправленно вызываемые посредством специальных мантических действий (календарно или окказионально обусловленных «загадываний» на сон).

На самом деле практически все запоминающиеся (и потому актуальные для пересказа) сновидения обретают в традиционной культуре статус вещих. Так или иначе все они соотносены со сферой грядущего, прогнозируя или программируя факты дальнейшей жизни сновидца и его близких. Так, явившаяся Божья Мать предсказывает девушке замужество за женатым или запрещает женщине делать аборт; умершие родственники просят помянуть, положить в могилу необходимый на том свете предмет; в снах-обмираниях рисуется картина ожидаемого загробного существования, что должно предостеречь человека от грешной жизни на земле, а от поведения самого сновидца на том свете и при общении с покойником (соглашается ли он остаться среди умерших) «зависит», суждена ли ему скорая смерть.

При этом все же необходимо выделить в особую группу рассказы о собственно вещих снах. Во-первых, именно для

этих сновидений, в сознании самих носителей традиции, прогностическая функция является стержневой, тогда как для других может быть периферийной и факультативной; во-вторых, актуальная информация выражена здесь не вербально, а на языке зрительных образов, причем требующих обязательной дешифровки. С этим последним фактором связана принципиальная двучастность повествования: оно включает содержание сна и его толкование. Толкование в данном случае понимается широко — как соотнесение знака с событием в ментальном, словесном или витальном тексте. Таким образом, в вербализованном виде оно может носить как предваряющий, гипотетический характер (предположение о значении сна до того, как он «сбылся»), так и констатирующий (утверждение о значении сна после его «исполнения»).

В максимально полном варианте традиционная схема рассказа о вещем сне предполагает наличие в нем следующих элементов:

а) обрисовка жизненной ситуации, предшествующей сну («*А это платье ещё было дома, она его не одевала ещё, туды не брала с собой. И я вижу сон...*»);

б) описание бытовых обстоятельств засыпания («*Дети бегают, а я говорю: "Я сейчас немножко прилягу"*»);

в) пересказ самого сновидения, часто сопровождаемый указанием на психологическое состояние во время сна и сразу после («*...И никто меня не слышит, и я не знаю, куда мне деться, и проснулась...*»);

г) если сон изначально воспринимается как символический — предположения сновидца о его значении, сделанные по пробуждении («*Я говорю: "Мам, кто-нибудь из наших придет, потому что яйца — это кто-то явится"*»), или толкование его третьим лицом, как правило, старшего поколения («*Прихожу... и рассказываю, она говорит: "Ну, что-то тебе на днях будет худое"*»);

д) исполнение предвестия;

е) если сон изначально не понимался как вещий — воспоминание о реакции удивления тому, что он таковым оказался («*И я когда подошла, когда он лежал, — дак вот я что видела!..*»);

ж) констатация (часто весьма экспрессивная) свойства снов «сбываться»: «правильности» сновидения в данном конкретном случае («*Так сбылся сон, что правильнее больше нету...*») и в принципе («*Вот так сны сбываются*»), причем

высказывания такого рода, особенно в ситуации собирательского интервью, иногда не только завершают, но и предваряют повествование, образуя своего рода «теоретическую рамку», где вывод равен исходному тезису, и рассказанная история как бы получает таким образом статус иллюстрации, экземпляры.

Разумеется, в повествовании не всегда присутствуют все названные блоки, а порядок их расположения может в известных пределах варьироваться.

Однако все вышеприведенные замечания носят предварительный характер, и вопрос о крестьянских рассказах о снах как особой субжанровой группе устных текстов, об их тематике, строении и прагматике должен лечь в основу специального исследования. В рамках же настоящей статьи нас будет в большей степени интересовать второй из намеченных выше аспектов рассмотрения данного материала, анализ которого, как представляется, действительно может заставить пересмотреть и дополнить существующее представление о традиционном снотолковании в крестьянской культуре.

Небольшой экскурс в историю вопроса. В конце XIX — начале XX столетия в русской этнографической литературе появился ряд отчасти дополняющих и повторяющих друг друга публикаций народных снотолкований, распространенных в некоторых белорусских и великорусских губерниях<sup>4</sup>. Все они строятся по одному принципу — по принципу словаря-сонника: слева — элемент содержания сновидения (предмет или действие), справа — его значение или варианты значений. О практике применения носителями традиции этих обобщенных формул-примет к истолкованию конкретных сновидений специально ничего не писали, подразумевая, по-видимому, как нечто само собой разумеющееся, что какая-либо дистанция между одним и другим отсутствует (наиболее полное описание народных представлений о сне и значении сновидений сделал в небольшой заметке 1891 г. А. Балов<sup>5</sup>). Все комментарии и наблюдения публикаторов касаются исключительно характера самих примет — количества образов и значений, парадигматических принципов, лежащих в основе их соотносительности, и т. п. — т. е., по сути, остаются в рамках все того же материала, не затрагивая контекста его бытования.

Правда, внимательный к деталям Н.Я. Никифоровский отмечал, что сонник не носит универсального, всеобщего характера, корректируясь частным опытом и дробясь на ми-

кротрадиции. «...Каждая местность, каждое семейство и даже иногда каждое отдельное лицо, — пишет собиратель, — одному и тому же сновидению дают разное значение, соответственно с наблюдением своим личным, а также семьи и соседей»<sup>6</sup>. Это наблюдение, собственно, и остается единственной попыткой развести теорию и практику народного снотолкования.

Далее, ввиду полного отсутствия в советской фольклористике и этнографии работ о народном толковании снов приходится сделать почти столетний скачок и обратиться к современным. Что касается зарубежной науки, то и в ней, как отмечает финская исследовательница Анникки Кайвола-Брегенхой, «фольклористическое изучение народных рассказов о снах — явление очень недавнее»<sup>7</sup>.

Отдельно надо остановиться на исследованиях Станиславы Небжеговской, посвященных польскому народному соннику. В них «непосредственным объектом анализа... являются не конкретные “высказывания” о снах и соответствующих им реальных событиях, а абстрактные логические формулы, констатирующие связь между... “образом” (содержание сна) и... толкованием...»<sup>8</sup>. Сонник, в понимании Небжеговской, — это, во-первых, «минимальный текст снотолкования (далее — МТС), состоящий из лаконичных предложений типа *когда снятся яйца, то это слетни* <...>, которые функционируют в своеобразных жанровых рамках», во-вторых, — «весь комплекс таких МТС, складывающийся (подобно лексемам в словаре) в словарь символов сновидений, существующий в коллективном сознании и собираемый и публикуемый фольклористами»<sup>9</sup>.

Анализируя мифологические и аксиологические категории, обусловившие принципы толкования, репрезентируемые народным сонником, исследовательница остается в рамках этого материала. Едва ли прав Н.И. Толстой, рецензент работы, считавший, что «об интенции сонника можно говорить, только если рассматриваются конкретные коммуникативные ситуации, в которых эти тексты произносятся. Взятые в отрыве от ситуации формулы типа “дождь — к слезам” не имеют прагматических признаков (в том числе интенции прогнозирования), они могут приобретать их лишь в конкретном речевом акте»<sup>10</sup>. Если рассматривать народный сонник как самостоятельный текст, вне «эмпирической рамки», то нет никакого противоречия в попытке определить его прагматику, причем определять ее возможно имен-

но на интенциональном уровне: ошибкой было бы распространять ее на уровень функциональный, т. е. утверждать, что прагматика сонника состоит не в интенции прогнозирования, а в самом прогнозировании.

Вообще, позиция С. Небжеговской в отношении снотолкования выглядит внутренне последовательной, пока исследовательница не переносит своих выводов с материала сонника (абстрактных бинарных формул) на саму ситуацию толкования сновидения. Однако, вводя фигуры сновидца (рассказчика сна) и толкователя, анализируя функционирование МТС в иножанровых рамках (и, в частности, в структуре рассказов о снах, которым посвящена последняя глава монографии «Польский народный сонник»), исследовательница, на наш взгляд, смешивает два различных понятия: толкование как идиома и толкование как акт. И здесь нельзя не согласиться с полемическим замечанием Н.И. Толстого о том, что «тексты сонника дают некоторую обобщенную форму толкования, а не толкуют конкретные образы сна»<sup>11</sup>.

О.Б. Христофорова, автор монографии «Логика толкований», используя материал архаичных культурных традиций, ставит задачу «обнаружить те глубинные предпосылки, которые обуславливают потребность в толковании, и ту логику, которая определяет формулировку толкования»<sup>12</sup>. Она подробно анализирует устойчивые формульные «тексты-толкования», которые, аналогично составляющим «сонника» (МТС) у Небжеговской, рассматриваются как самодостаточные единицы толкования, и тот контекст, в котором они естественно актуализируются в речи, в бытовой практике, не учитывается.

Характерно, что обе исследовательницы указывают на типологическое (логическое и формальное) родство снотолкований с приметами. «В МТС, а также в приметах, — пишет об этом Небжеговска, — основное предложение имеет формальную структуру “X — это Z”. Связку “это” можно интерпретировать с помощью таких слов, как *означает, предсказывает*»<sup>13</sup>. Признание этого единства не мешает, однако, польской исследовательнице видеть в текстах сонника отдельный жанр, не включая их в разряд собственно примет. О.Б. Христофорова в этом вопросе идет дальше, принципиально не разделяя приметы на «сонные» и «явные»: с ее позиций все это суть «тексты-толкования», что представляется вполне убедительным. Действительно, все те структурные, семантические и прагматические особенности, «ка-

тегориальные свойства», которые Небжеговска признает присущими народному соннику (паразитирование текстов снотолкования на текстах других жанров, образ и толкование как основные конструкты, конкретность первого и обобщенность второго, временное предшествование образа толкованию и т. д.<sup>14</sup>), в той же мере характерны и для «несонных» примет типа «соль просыпать — к ссоре».

Так или иначе, на сегодняшний день все известные нам обобщения относительно толкования вещей снов, базируясь на материале народного сонника — т. е., по сути дела, на комплексе примет, — неизбежно остаются в пределах той примитивной семиотической модели, по которой строится любая примета. За неимением иных данных эта единственная модель, вербализованно или «по умолчанию», переносится на представление о массовой практике интерпретации сновидений, что сводит снотолкование как процесс к поиску нужной строки в словаре сновиденных символов. Разумеется, в ряде случаев эта схема действительно реализуется «в чистом виде», что подтверждается меморатами о сбывшемся сновидении.) Подобные рассказы звучат примерно так:

*«Вот, брата убили, вот на ярмонке — Тихвинская была, в Заборье. Он молодой, ешию не жанивши был. Почти насмерть убили. И я видела: валяла лес, и до чего я только его валяла, и клали в кучку, и грузили, и что-то рубили из этого леса — и вот как раз покойник. Лес к покойнику всегда»<sup>15</sup>.*

Однако такие случаи, где закономерность последовавшего происшествия мотивируется заранее известной, устойчивой (что в приведенном тексте подчеркнуто последней фразой) прогностической семантикой приснившегося, составляют лишь некоторую часть от общего числа рассказов о сбывшихся снах. Во многих же из них мы не встречаем не только таких мотивировок, но часто и самих эмблем, входящих в традиционный для данной местности «сонник», активный объем которого, судя по всему, вообще все более и более сокращается. Особенно же показательны те случаи, когда предмет или действие из числа значимых «сонных» образов, известных традиции, обретает в трактовке рассказчика окказиональное значение. Приведем пример.

*«Я перед этим видела сон, что будто бы я подъезжаю в Кувшинову (она жила в Кувшинове), и вдруг холм такой, на холме телега. И я вот стала рассказывать, говорят: “Точно будет покойник”. И потом вот, правда, телеграмма: Рая*

умерла, значит. Ну, это говорят, мол, телега — это памятник, холм — это могилка»<sup>16</sup>.

Реализация предвестия (смерть) соответствует традиционному значению образа телеги, фиксировавшемуся еще в прошлом столетии, но конкретизирующая мотивировка толкования (телега — памятник) звучит достаточно неожиданно и едва ли существует как самостоятельная формула толкования. Однако контекст сновидения многое объясняет: по-видимому, все определила могильная символика холма, и «гибкое» сознание толкователя логически дополнило картину, объявив телегу надгробием.

Справедливости ради надо отметить, что рассказов о толковании снов, в которых традиционный семиотический потенциал сновиденных образов остается нереализованным, не меньше, чем повествующих о снах, предвещающих будущее по принципу «вода — беда, ягоды — слезы». Рассмотрим еще один пример.

«...От вижу сон: значит, от, мне вдруг зарезали, эти вот, поросёнка зарезали. Говорю: “Ну что, так тяпло, и зарезали. Куда мне теперь яво даявать? <...> Надо подвешить”. Вот подвешивали этого поросёнка, подвешивали (а свинка, даже не боров — свинка), подвешивали, и к ней подвешивали два поросёночка этих. Говорю: “Господи, ну что ж, ну что ж, — я говорю, — теперь...”. И, значит, эти поросятки два висят. И оказывалось, вот так скоро, что, вроде, я сегодня видела, и Ваня как раз идёт, бжжить, говорить: “Знаешь вот, <...> — говорит, — несчастье какое?”. Я говорю: “Что?”. “Толька, — говорит, — разбился”. И настолько плакали, что вот осталась Зина и два ребёночка. Вот с ходу, ну момянтально случилось. Это уже на самом деле. Плакали, кричали, я говорю: “Вот осталось два, осталась, — я говорю, — свинка, осталось вот два поросёночка маленьких”, — от-то маленькие. И они как раз цапивши за мамку сидят, а он уже умер»<sup>17</sup>.

Конечно, большинство пересказываемых крестьянами сновидений содержит какие-либо из тех реалий, которые известны традиции в качестве семиотически маркированных образов. В данном случае это свинья — общераспространенный персонаж народного сонника. Сон про свинью в тех местах, где был записан данный текст, трактуется обычно как «к свинству», по белорусскому материалу свинья — ведьма, враг, а белая свинья — смерть<sup>17а</sup>. Но приведенный выше текст иллюстрирует как раз тот случай, когда эта эмблематика «не работает»: прогностической интерпретации в ре-

зультате подвергается не устойчивый в своей семантической емкости образ свиньи, и даже не само совершившееся событие, а, с одной стороны, картина висящих рядом свиньей и двух поросячьих туш (этому образу окказионально присваивается значение «овдовевшая женщина с двумя осиротевшими детьми»), с другой стороны — эмоциональное состояние тревожного недоумения и растерянности, испытываемое сновидицей при созерцании этой картины.

Кстати, нередки и случаи, когда в основу толкования ложится именно чувство, душевное состояние сновидца, переживаемое им во сне и/или сразу по пробуждении: «Видит во сне: идёт она. Идёт, и на ходу ей вскочила в рот пчала и её больно ужалила. Она расстроилась и проснулась за этим, с этой боли. Прошло три года — вот, порвало девочку на минах. А... вот ей (матери. — М. Л.) было больно»<sup>18</sup>.

Толкование здесь производится по общему сходству переживаний (боль) — во сне и впоследствии наяву в связи с произошедшим событием. Образ пчелы, пчелиного роя, укуса пчелы в различных традициях имеет множество значений<sup>19</sup>, но в данном случае ни одно из них не задействуется. Этот и многочисленные сходные тексты показывают неприемлемость к практике снотолкования тезиса С. Небжеговской, относящегося к фольклорному соннику, о том, что сновиденный толкуемый образ «отличается своим конкретным характером. Это “предмет”, осязаемый органами чувств, который имеет определенный внешний вид и который можно нарисовать <...>»<sup>20</sup>. Заметим кстати, что в обширной подборке Романова приметы, помещенные в раздел «Действия», составляют десятую часть от общего числа, что не так уж мало, причем лишь несколько из них предполагают действие с каким-либо конкретным предметом.

Итак, вполне очевидно, что сновидец (или посторонний толкователь) обладает достаточной степенью свободы не только в характере прогностической интерпретации того или иного образа, но и в выборе самого объекта (или объектов) толкования. В большинстве рассказов о сновидениях таких объектов присутствует несколько, тем более что интерпретабельным для толкования является не только предмет (в узком смысле слова), но также качество того или иного предмета (грязный, красный), число предметов и характер отношений между ними (вспомним свинью и двух поросят), действие (убегать, терять), пространственные и временные параметры действия (далеко, медленно), эмоци-

ональное состояние (страх, удивление) и другие показатели.

Если представить содержание сновидения как высказывание, то практически все члены предложения могут быть задействованы в качестве прогностических знаков при толковании, причем, как явствует из рассказов о сбывшихся снах, толкователь в каждом конкретном случае вполне произвольно выбирает и комбинирует для объяснения сновидения одни образы, игнорируя другие.

*«Вот у меня мама болела, в войну. Ну, у ёй фактически был аппендицит. А врачей-то не было. Все придуть, смотреть, вот такие два жгута в правом боку натянувши: “Грыжа, грыжа, грыжа”. Кричит мама на всю голову — “грыжа”. Ну, вот я, это, ну, думаю: “Что ж, мама умрет”, — и повязла яё в Хотилицы в больницу, и там ничего нету. Она ночь переночавала, я сбегала утром, говорить: “Бяри меня домой, я не могу. Мне клизьму делают, я не могу — мне все кшки сорвало”. Ну, вот я привела лошадь, запрягла, привязла яе домой, лягла спать, вижу — куда-то иду я. Иду, и тёмно уже, смотрю, это, солнце котится, котится, лес такой тёмный. Ой, ну у мене так сердце болит, думаю: “Ну, как я пойду — ночью, тёмно, это, лесом-то пойду я”. Ну вот, третьим днём мама и поярла.*

*— А что было к смерти? — соб.*

*— Мама от змерла, и вот, ну а вот солнце катилось, катилось — ну она и откатилась от нас»<sup>21</sup>.*

Известны значения пути, и солнца, и леса. Но рассказчица строит толкование на параллелизме «закат солнца — “закат” человека», усиливая метафорическую соотнесенность образа и значения деривационной близостью и созвучностью обозначающих их глаголов: солнце «катилось» — мама «откатилась».

Из всего сказанного можно сделать первый вывод: стратегия народного снотолкования не сводится к применению известной формулы-приметы типа «вода — беда, ягоды — слезы», совокупность которых составляет так называемый народный сонник. Большинство сновидений (в том виде, как их помнит и вербально воспроизводит сновидец) обладают большим семиотическим потенциалом, чем абстрактно мыслимая эмблема с ее предпосланной реальному событию значением. Склонность образов устного сонника к полисемии отмечал еще Е. Ляцкий: «...некоторые сны, как оказалось, имеют несколько значений...»<sup>22</sup>; об этом же свидетельствуют материалы и наблюдения С. Небжеговской<sup>23</sup>. Одна-

ко в практике снотолкования многозначность образа существенно шире, чем это описано исследователями народного сонника, ибо связана не только с возможной множественностью известных традиции прогностических трактовок одного знака, но и с практической «логикой толкования». Присвоение образу того или иного значения в каждом конкретном случае обуславливается как минимум двумя факторами: во-первых, выбором «означающего» из образного материала сновидения, содержащего, как уже сказано, целый ряд потенциальных знаков, совокупность которых открывает перед толкователем широкое поле для избирательности и комбинирования, во-вторых — выбором «означаемого», который, в свою очередь, не ограничен рамками устойчивого семантического спектра того или иного образа и допускает какие угодно частные — индивидуальные, окказиональные — интерпретации и вообще во многом определяется последовавшим событием, о чем подробнее речь пойдет ниже. Эти два фактора взаимосвязаны, так как в каждом отдельном случае выбор знака и выбор значения совершаются как единый ментальный акт, цель которого — соотнести сон и событие как примету и ее реализацию.

Так что полисемия сновиденных образов носит принципиально открытый характер, и в силу этого вся сумма возможных значений каждого из них не может быть учтена и предпослана толкователю сонником. В свою очередь, народный сонник — традиционный, «существующий в коллективном сознании» набор толкований отдельных образов, — являющийся лишь иногда прямым и единственным источником объяснения прогностики сна, во всяком случае выступает как своего рода пособие к толкованию, так как, во-первых, имплицитно выражает саму идею прогностического значения сновидений и возможности его дешифровки, а во-вторых, закладывает в сознание носителя культуры — потенциального снотолкователя — ту систему координат, или, точнее, те правила игры, по которым производится установление семиотических отношений между сном и событием.

Одним из таких правил, подсказываемых толкователю традиционным сонником, является правило детализации образа. Мы имеем в виду возможность варьировать и уточнять толкование образа с учетом тех или иных его модификаций. «Еще одна характерная особенность сонника, — отмечает Небжеговска, — заключается в том, что образы, функционирующие в рамках минимальных текстов снотол-

кования, могут быть специализированы, развернуты за счет добавочных характеристик. <...> Так, например, хлеб в минимальном тексте снотолкования функционирует не только как “обобщенный” образ <...>, но и в каких-то своих разновидностях <...>»<sup>24</sup>.

Действительно, многие элементы сонника характеризуются детальной разработанностью, в чем сказывается стремление охватить сферой толкования большее количество возможных вариантов и подробностей образа. Это само по себе свидетельствует о том, что система, задающая в качестве единственного эмблематический принцип снотолкования, пытается преодолеть неизбежную нивелирующую обобщенность прогностически значимых образов и, соответственно, их толкований, т. е. как бы движется в сторону практики толкования. Однако при этом сами значения уточняющих образ деталей отнюдь не утрачивают обобщенно-типизирующего характера, тогда как толкование конкретного сновидения всегда конкретно же и исходит из его непредсказуемой и неповторимой образной структуры, какой она запомнилась сновидцу. Проиллюстрируем сказанное, сравнив выдержку из материалов по народному соннику с рассказом о сбывшемся сне, содержащем тот же образ с аналогичной детализацией.

Из «Материалов для народного снотолкователя» Никифоровского:

«Вынимать *зубы* из собственного рта — получать известие о чьей-либо смерти. Коренные *зубы* — известие о смерти пожилого, или же значительного лица; передние — то же известие о молодом человеке и лице второстепенном. Если те или другие *зубы*, будучи вынуты на ладонь, подверглись рассмотру и потом снова вложены в рот, нужно ожидать неминуемой смерти, хотя и близких людей, но не состоящих в кровном родстве, как: жены, ея родителей, и сестер, свекра и свекрови, золовок и других свойственников. Но если вынутые *зубы* были в крови, то коренные указывают на смерть родителей, резцы — детей, клыки — братьев и сестер»<sup>25</sup>.

Рассказ о сне:

«*Видела сон. Вот этот сон мне сбылся. Вижу во сне: выпали все зубы во рту. Ой! Стала перед зеркалом и вот так вот вставляю их, так вот цокну — зуб приживёт. А один зуб никак не прижил. Так он даляко там — ну, думаю, а его и не видно, что его не было. А была война. Все свои пришли, мои родственники. А один родственник пришел и умер. Сердце отка-*

*зало. И вот одного я потеряла. А он родственник — моей тётки муж, считай, что это далёкий родственник. Говорю: “Ну, а этого зато ня видно, и нипочём”. Вот сон мой и сбылся. А все прижились, все прижились»<sup>26</sup>.*

Детализированная интерпретация, как мы видим, происходит здесь по заданной сонником модели, но содержит, в соответствии с образным сюжетом самого сновидения и последовавшими событиями, окказиональную и, разумеется, непредсказуемую коллизию (далеко расположенный зуб, которого не видно, выпал и не прижился на своем месте — далекий, «не заметный» свойственник вернулся с войны, но вскоре умер).

Говоря о традиционном снотолковании, нужно учитывать и тот факт, что крестьяне в своих суждениях о значении сновидений и законах их дешифровки представляют картину схематически упрощенную, т. е., как правило, сводят ее к той самой формуле «X = Z». Рассуждая о толковании снов, говорящий транслирует как раз общие места традиционного знания. Таким образом, схематизированные представления о «логике толкования» характерны для самих носителей традиции, которые в реальной практике интерпретации образов сновидений (что фиксируется в рассказах) логику эту постоянно нарушают или значительно усложняют.

Итак, несколько упрощая, можно сказать, что в толковании сновидения типовое и устойчивое традиционное знание, априорно предпосланное каждому факту сна/толкования, образует базовый уровень интерпретации, а конкретное и частное — уровень специфический. Уточняя положения концепции Небжеговской, Н.И. Толстой писал о роли сонника в снотолковании: «Сонник в таком виде, т. е. как перечень подобных соответствий (“дождь — это слезы”), представляет собой <...> род грамматики или словаря, будучи “инвентарем” парадигматических элементов, из которых строится бесконечное множество реальных, коммуникативно “погруженных” текстов, толкующих сны»<sup>27</sup>. Стоит подчеркнуть, что под «парадигматическими элементами» нужно понимать в данном случае не только отдельные МТС (словарь), но и «правила» толкования (грамматика).

Наконец, нельзя оставить без внимания еще один важный фактор, без учета которого наши представления о толковании вещей сновидений будут заведомо неверными: мы имеем в виду влияние на толкование того события, которое осмысливается как реализация прогностического значения сна. «Текст» этого события (или группы событий) и является под-

час тем магическим кристаллом, взгляд через который обращает образный текст сновидения в знаковую картину будущего (вспомним, например, сон о свинье и двух поросятах).

Многие рассказы заканчиваются фразами, как бы подчеркивающими, что произошедшие события подтвердили вещь значение сновидения: «Вот так и сбылся мой сон»; «Вот сон мой и сбылся»; «Вот этот сон мне и сбылся страшно»; «Вот тебе и сон сбылся»; «И вот видишь, как он сбылся мне». Более того: одним из общих мест рассказов о сбывшихся снах является сообщение о том, что сон вспомнился лишь после того, как сбылся. Такой порядок может даже быть возведен в принцип: «Когда он сбудется, этот сон, и случится у тебя такое дело, тогда ты вспомнишь: “Ага! Ведь вот я ж видела сон, и он у меня сбылся”»<sup>28</sup>.

Содержание сновидения и содержание соотносимого с ним события (кстати, не всегда принадлежащего будущему по отношению ко сну времени, но иногда — прошлому или «неизвестному настоящему») можно геометрически представить как две непараллельные плоскости, снотолкование — как линию их пересечения, принадлежащую третьей (ментальной) плоскости. Так что толкование как операция по установлению сигнификативных отношений между предметно-событийными рядами, имеющими различный онтологический статус, не только декодирует знаковый текст, но и, наоборот, «означивает» образный текст сновидения. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к известному семантическому конформизму направленного в будущее толкования — в случае непрямого, иносказательного изображения действительности.

Существуют, однако, и сновидения, рисующие ситуации будущего без какой бы то ни было «кодировки». Речь идет не о случаях применения того типа МТС, в котором реализован принцип толкования, обозначенный автором термина как «тождество — Если девушке снится кавалер, то уж, видно, к ней приедет»<sup>29</sup>, — а о «видовых» сновидениях, изображающих событие, а точнее, — картину, имеющую реализоваться в действительности, не символически, а через предваряющее воссоздание ее внешнего антуража. Такие сны зеркально подобны снам-воспоминаниям об имевших место в прошлом событиях — здесь сновидец «вспоминает» то, чему только суждено произойти. В соответствующих меморатах повествуется о том, как сновидец попадал в обстановку или в ситуацию, в точности воспроизводящую виденное им

некогда во сне. Принцип прямого визуального представления образов «из будущего» характерен для рассказов про святочные гадания о суженом, так как он заложен в самой идее этих гаданий, часто сопровождающихся просьбой-заклинанием «показать» жениха, но мы сейчас говорим о снах, свободных от мантической целенаправленности. Приведем три примера таких рассказов.

*«Ну, и ёлка стоит такая, небольшая. Я подхожу, размахиваюсь топором — топор проскочил и прямо по ноге, против пальцев. Во сне. Это прошло где-то недели две, наверно. И подхожу: как во снах ёлочка сбилась, такая же самая ёлочка. Размахиваюсь — раз! — топор проскакивает и <...> по пальцу. Я только тогда сон вспомнил...»<sup>30</sup>*

*«Вот перед Германией, перед войной. Вот я была в плену, в каком, в этом, в деревне — я-то ведь за полгода до войны, я всю-всю эту деревню видела во сне. Тополя эти и свою хозяйку — всё видела во сне. Привёл меня хозяин туда с этой, на берег, а я и говорю: “Господи, так я ж тут была! Я тут была, в этом доме-то. Скороварня эта и школы вот тут две рядом, цвятам всё обсажено кругом”. А я проснулась, я говорю: “Мам, я сегодня там в раю была”. Она говорит: “Ну, в раю!” — “Мам, — я говорю, — такое красивое место! Нигде такого места у нас, нигде в России нету! Всё цвяты, такая красота, — говорю, — вот такая молодуха сидит, заплетена чёрным косам, и ребёночка держит на руках, — я говорю. — Не знаю, где у нас такое место, и такое не видела”. <...> [Когда меня] хозяин привёл в дом, я и гляжу, я думаю: “Господи, эта баба сидит, с заплетённым косам, чёрным волосам, это, ребёночка держит”. Вот что-то там кругом указывает мне, где это, вокруг дома обряжать, как скот где укладывает — это всё я во сне видела»<sup>31</sup>.*

*«Снам — вот, говорят, что это неправда, это сон, это просто вспоминала или что-то. От я про себя. От если сон мне приснится — мне не надо цыганки. Я сама всё расскажу, знаю, что вот это вот сбудется, а это сбилось уже всё. Значит, снится мне сон, что якобы этот, как будто я, значит, лежу вот так на топчане, как в больнице эти сидят ждут врача-то. А какой-то мужчина вот так колдует, колдует надо мной. Пошли мы с дедком дрова пилить, и он “Дружбой” мне отпилит ногу. Не совсем, а зацепил. Пришла к хирургу — да я вот так во сне видела этого человека! Точно? Точно. И так же он стал мне зашивать эту ногу — руками-то колдует. От. Ой, сколько таких у меня снов — и все исполнятся»<sup>32</sup>.*

Ряд примеров можно было бы значительно расширить: удельный вес подобных рассказов среди прочих достаточно значителен. Очевидно, что для вещей снов этого типа приведенная выше формула: «Когда он сбудется — тогда ты вспомнишь» — является, по сути, началом и концом «толкования», которое в данной ситуации сводится к констатированию прогностического значения сновидения, лишено элемента перекодировки и не может предварять факт исполнения предвещения.

Таким образом, по характеру знаковости прогностического текста и, соответственно, по принципам толкования эти сновидения диаметрально противоположны тем, содержание которых воспринимается как набор известных эмблем, а значение последних определяется по модели «вода — беда, ягоды — слезы». Обозначенные два типа сновидений/толкований составляют как бы два крайних варианта: «конкретно-окказиональный», где толкование последует событию и детерминировано его актуальным «содержанием», и «обобщенно-стереотипный», где толкование (в идеале) предшествует событию и опирается на сонник как на универсальное коллективное знание. Между этими полюсами простирается все поле семиотических возможностей, конкретные же случаи тяготеют к одному или другому, комбинируя в себе в различных сочетаниях и пропорциях элементы эксклюзивного и разового опыта с элементами устойчивой символики и механики снотолкования.

### Примечания

- 1 Лурье М.Л., Черешня А.В. Крестьянские рассказы о сбывающихся снах // Традиция в фольклоре и литературе: Статьи, публикации, методические материалы преподавателей и учеников Академической гимназии Санкт-Петербургского государственного университета / Ред.-сост. М.Л. Лурье. СПб., 2000.
- 2 Небжеговска С. Сонник как жанр польского фольклора // Славяноведение. 1994. № 5. С. 68.
- 3 Kaivola-Breghøj A. Dreams as Folklore // Fabula. Bd 34. Berlin; New York, 1993. P. 211.
- 4 Романов Е.Р. Опыт белорусского народного снотолкователя // Этнографическое обозрение. 1889. № 3; Дерунов С. Материалы для народного снотолкователя. III. (Ярославской губернии) // Этнографическое обозрение. 1898. № 1; Ляцкий Е. Материалы для народного снотолкователя. II. (Минской губернии) // Этнографическое обозрение. 1898. № 1; Никифоровский Н.Я. Материалы для народного снотолкователя. I. (Ви-

- тебской губернии) // Этнографическое обозрение. 1898. № 1; Балов А.В. Очерки Пошехонья // Этнографическое обозрение. 1901. № 4.
- 5 Балов А. Сон и сновидения в народных верованиях: Из этнографических наблюдений, собранных в Ярославской губернии // Живая старина. 1891. Вып. 4.
- 6 Никифоровский Н.Я. Указ. соч. С. 133.
- 7 Kaivola-Breghøj A. Ibid.; см. там же библиографию работ по теме 1980–1990-х годов.
- 8 Толстой Н.И. S. Niebrzegowska. Sennik jako gatunek polskiego folkloru. Słownik i semantyka: Rozprawa doktorska. Lublin, 1995. Cz. I, II. 494 S; Polski sennik ludowy. Lublin, 1996. 297 S. // Славяноведение. 1997. № 4. С. 106.
- 9 Небжеговска С. Указ. соч. С. 67.
- 10 Толстой Н.И. Указ. соч. С. 106–107.
- 11 Там же.
- 12 Христофорова О.Б. Логика толкований: Фольклор и моделирование поведения в архаических культурах. М., 1998. С. 102.
- 13 Небжеговска С. Указ. соч. С. 69.
- 14 Там же. С. 72.
- 15 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. № 3.
- 16 Там же. № 12.
- 17 Там же. № 31.
- 17а Романов Е.Р. Указ. соч. С. 54–72.
- 18 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. № 24.
- 19 Романов Е.Р. Указ. соч. С. 70; Ляцкий Е. Указ. соч. С. 148; Дерунов С. Указ. соч. С. 151.
- 20 Небжеговска С. Указ. соч. С. 68.
- 21 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. № 28.
- 22 Ляцкий Е. Указ. соч. С. 139.
- 23 Небжеговска С. Указ. соч. С. 70–71.
- 24 Там же.
- 25 Никифоровский Н.Я. Указ. соч. С. 136.
- 26 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. № 10.
- 27 Толстой Н.И. Указ. соч. С. 107.
- 28 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. № 275.
- 29 Небжеговска С. Указ. соч. С. 69.
- 30 Лурье М.Л., Черешня А.В. Указ. соч. С. 62.
- 31 Там же. С. 58.
- 32 Там же. С. 54.